

Викентий Вересаев

# На высоте



# Викентий Викентьевич Вересаев

## На высоте

### Аннотация

«Парный извозчик ехал по шоссе в гору. За черными садами море смутно сверкало под звездами. Ордынцев упорно молчал. Вера Дмитриевна осторожно просунула руку под его локоть и с ласкою заглянула в глаза...»

# Содержание

I	4
II	8
III	12
IV	19
V	24

# Викентий Вересаев

## На высоте

### I

Парный извозчик ехал по шоссе в гору. За черными садами море смутно сверкало под звездами. Ордынцев упорно молчал. Вера Дмитриевна осторожно просунула руку под его локоть и с ласкою заглянула в глаза.

– Боря, ты за что-то сердишься на меня?

Ордынцев пожал плечами.

– Нет... За что сердиться? – Он в нерешительности помолчал. – Я только немножко удивлен. Ну, как ты, Верочка, до сих пор не знаешь, что значит «пойти в Каноссу»?

Вера Дмитриевна медленно высвободила руку и со сдержанным вызовом ответила:

– Что ж делать, не знаю!

– Не знаешь, – ну, спросила бы меня потом. А то при всех.

– Я вовсе не стыжусь показать, чего не знаю. Мне интересно было, что говорил профессор Богодаров. А он все поминал эту Каноссу. Я и спросила... Очень мне нужно, что подумают!

– Оно так, но я не понимаю, – для чего выставлять перед всеми свое невежество? Какая в этом нужда?

Пролетка катилась. Вера Дмитриевна молча смотрела в сторону. Вдруг она быстро сказала:

– Лучше я никогда не буду ездить с тобою к твоим знакомым. – И голос ее задрожал.

– Ну, Вера, зачем ты это говоришь? – мягко возразил Ордынцев. – Я сказал, что думал. Если тебе обидно, прости. Я не хотел задевать тебя.

– Вовсе не обидно. А только я чувствую, что тебе неловко бывать со мною у твоих знаменитых знакомых, стыдно. Я тебя постоянно компрометирую... Да и зачем мне там бывать? Ты им интересен, а я, – что я для них такое? Просто – жена Ордынцева, больше ничего.

Ордынцев ласково гладил ее руку в перчатке, как будто возражал этою ласкою.

– Ты сильно ошибаешься, если так думаешь! Я о тебе слышал здесь уже несколько отзывов... В тебе есть что-то удивительно честное, юношески-чистое. Это вызывает недоумение – и привлекает. Потому что сами мы слишком сжились со всякими условностями. Да взять, наконец, хоть бы как раз эту самую «Каноссу». Из нас никто бы не спросил, если бы и не знал. Стыдно было бы. А ты спросила. И видела ты, как глаза у Богодарова засмеялись мягко и ласково?

Ордынцев старался утешить Веру Дмитриевну. Но от его слов в нем самом исчезла досада за «Каноссу», и она стала мила ему, с ее открытою душою и юным, девическим взглядом. Вера Дмитриевна молча, с затуманившимся ли-

цом, смотрела на море.

Извозчик остановился. В заросшей плющом каменной ограде была решетчатая калитка. Они поднялись по каменным ступенькам и пошли вверх по кипарисовой аллее. Было темно и очень тихо. В воздухе стоял теплый, пряный аромат глициний. Ордынцев поднес к губам руку Веры Дмитриевны и тихонько целовал ее ладонь в разрез перчатки.

Убеждающим голосом, мягко и виновато, он сказал:

– Ну, девочка моя, ты не сердись на меня!

В обрывистом шепоте слышалась загорающаяся страсть.

Вера Дмитриевна грустно опустила голову.

– Я не сержусь.

Будет нервная, мучительная и ненужная для нее ночь... Он будет предупредительно-нежен и виновато-благодарен. А потом – через силу сдерживаемая грубость, непонятное, обидное отвращение на лице и холодная скука.

Но теперь он – такой большой, с серьезным, думающим лбом – был покорен и ласков, как маленький мальчик. И в душе поднималось что-то тихое, матерински-нежное. Хотелось сделать ему приятное. Она сняла перчатку и ласково провела рукой по его щеке.

– Мне очень нравится, как ты сегодня говорил. Столько у тебя всегда нового, неожиданного! По лицам видно, как твои слова все ворошат в душах, все ставят вверх дном, заставляют над всем думать. А ты заметил, ведь Завьялов угощал тобою гостей?

Ордынцев пренебрежительно улыбнулся.

– Ну, угощал!

– Конечно!.. И ужасно был рад, что угощение вышло такое хорошее, – прошептала она и с гордостью погладила его волосы.

Ордынцев отпер ключом дверь дачи, они вошли в комнаты. В широкие окна было видно, как из-за мыса поднимался месяц и чистым, робко-дробящимся светом ласкал теплую поверхность моря. Вера Дмитриевна вышла на балкон, за нею Ордынцев. Здесь, на высоте, море казалось шире и просторнее, чем внизу. В темных садах соловьи щелкали мягко и задумчиво. Хотелось тихого, задушевного разговора.

Странно низко, почти в уровень с крышею, по небу плыло от гор к морю воздушное белое облачко. Вера Дмитриевна сказала:

– Посмотри вверх, как низко облачко.

На глазах облачко бледнело, растягивалось и растаяло в воздухе. Ордынцев рассеянно ответил:

– Клочок тумана с гор.

Он тихонько расстегнул у кисти ее рукав и скользнул рукою по тонкой, голой руке к плечу. Она, все с тою же материнскою нежностью, гладила его курчавую голову, прижавшуюся к ее груди. И в темноте ее лицо становилось все грустнее и покорнее.

## II

Когда Вера Дмитриевна проснулась, Ордынцев давно уже, обложенный книгами, сидел на балконе своей комнаты и писал. Вера Дмитриевна чесала перед зеркалом волосы. На душе было тяжело, одиноко. В зеркале отражались ее плечи и шея. С враждою смотрела она на свою наготу и на невидимые следы его поцелуев на ней: почему, почему он – такой любящий, тихо-нежный, когда хочет ее, а в другое время почти ее даже не замечает? Как возможны такие резкие изменения, и почему этого нет у нее? Почему у нее горит к нему постоянно ровное, нежное чувство? И вот эти оскорбительные батистовые рубашки, эта декадентская прическа, – всего этого хочет он... Гадость, гадость!

На балконе, на лазурном фоне моря, рисовалась наклоненная над столом красивая голова Ордынцева. Вера Дмитриевна с враждою вглядывалась в него. Вот – грубый и хищный самец. Удовлетворил свой голод по самке и теперь себялюбиво-безразличен ко всему, что не он.

Вера Дмитриевна оделась, заварила для Ордынцева кофе и села читать статью в журнале о последней книге Ордынцева. Статья была злобная и плоская. Цитаты, вырванные из книги без связи, пестрели нелепыми вопросительными и восклицательными знаками. И все-таки, даже изуродованные, цитаты эти сияли в серой статье, как лучи весеннего

солнца в неубранной и грязной мещанской спальне. И на душе стало хорошо, серьезно. Вера Дмитриевна вошла в комнату Ордынцева, как будто чтобы положить на место журнал. Молча подошла и с тихой лаской поцеловала его в затылок. Ордынцев поморщился и, не оборачиваясь, нетерпеливо замахал рукою.

В двенадцать часов Вера Дмитриевна позвала его пить кофе. Он вошел, и в медленно двигавшихся глазах глубоко светилась еще продолжавшая работать мысль. Вера Дмитриевна спросила:

– Писалось тебе?

– Чудесно писалось! – Довольно потирая руки, он сел за кофе. – Этот крымский воздух, он положительно вдохновляет.

– А я сейчас прочла статью Коробкова. Как глупо! Боже мой, как все глупо!

Ордынцев улыбнулся.

– Да-а... И главное, злость-то беззубая, не задевает. Ругают тебя, а читать скучно.

– А знаешь, в одном я все-таки согласна с ним, а не с тобой, где он защищает утилитаризм. Я не понимаю, почему ты утилитаризм находишь пошлым. Ведь его не нужно непременно понимать в смысле «моральной арифметики» Бентама: хочу поступить хорошо – и высчитываю, что для меня же это будет выгодно и приятно. Так никогда это не делается. Просто, я поступаю хорошо, потому что мне было бы про-

тивно поступить иначе.

Он неохотно протянул:

– Ну, да... Дело в том, что наши так называемые нравственные действия вообще внеразумны, и здесь не может быть самого вопроса об их выгодности или приятности.

Вера Дмитриевна встрепенулась и придвинулась к нему.

– Погоди, почему? Ведь чувство голода тоже внеразумно, а оно в то же время неприятно, и я ем. Ем, потому что я голодна, потому что мне хочется есть, потому что я испытываю ощущение голода...

Ордынцев лениво потянулся и шутливо похлопал ее по руке.

– «Голодна», «хочется есть», «испытываю ощущение голода», – ведь все это одно и то же!.. Ах, Верка!.. – Он добродушно засмеялся.

Вера Дмитриевна нетерпеливо возразила:

– Ну, это не важно! Я только хочу сказать...

Он стал серьезен.

– Я понимаю, что ты хочешь сказать. Пожалуй, в этом смысле ты права.

Вера Дмитриевна быстро взглянула на него, закусила губу и молча наклонилась над чашкою. Она видела, – Ордынцев соглашался просто потому, что ему было неинтересно спорить. Чувствовалось, он уже сотни раз слышал все эти возражения, и их скучно было опровергать.

Она молча пила кофе. Ордынцев не заметил, почему она

замолчала, и стал говорить о том, что сегодня писал. Он любил излагать Вере Дмитриевне свои новые мысли. При этом они становились и для него самого яснее и отчетливее.

И опять ее стал захватывать тот живой, сиявший мыслью огонь, которым были полны его слова. Она оживилась, спрашивала, возражала. Ордынцев легко отстранял ее возражения, как гибкие прутьики, и вел ее мысль за своею, как послушного ребенка.

### III

Вечером они пили чай у матери Ордынцева. Она жила с двумя дочерьми в Чукурларе. Ордынцев посещал ее аккуратно каждую субботу, был предупредителен к матери, болтал и смеялся с курсистками-сестрами. Вера Дмитриевна чувствовала себя там хорошо и свободно, но ее стеснял Ордынцев: она видела, что он здесь только исполняет свой долг. Часто, когда все они, и Ордынцев с ними, смеялись и дурачились, в его глазах вдруг мелькала только ей заметная скука и усталость. Чувствовалось, как все они чужды ему. Было неловко за себя и за всех. Как будто большой человек, согнувшись, ходил среди них на корточках, чтобы быть одинакового роста с ними, и она видела, как от этого у него ноет все тело.

Так было и теперь. Но Вера Дмитриевна не чувствовала неловкости за себя. Ей вдруг стало вызывающе странно, – почему это обыкновенная, живая жизнь так непереносима для него? Вот, даже эти кипарисы, дымчатая даль моря, горы – всё это как будто немножко конфузится перед ним оттого, что не думает о критериях познания... С какой стати всем им конфузиться?

Они вдвоем возвращались домой по набережной. Ордынцев был вял и бледен. Он потер висок.

– Голова начинает болеть... Проедемся на лодке, я погребу.

– Поедем... Тогда туда пойдем, лодки там отдаются.

Вера Дмитриевна указала рукою по направлению к молу.

Ордынцев поморщился и украдкой поглядел по сторонам.

– Ну, Вера!..

– Ах, да! Неприлично пальцем показывать... Хорошо, не буду!

Она усмехнулась про себя и пошла, глядя в землю.

Вот тоже. Он по натуре боец, смелый и дерзкий. Его веселит, когда на него набрасываются орды защитников шаблона, когда его имя заливают грязью. Но это в области мысли. А в жизни он труслив и косен. Он двадцать раз оглянется в обе стороны, прежде чем перейти улицу, и приходит в ужас, если она режет котлету ножом... Она отыскивала в нем темное и нехорошее и старалась этим закрыть от себя тоску, которая была в ней от его холодности и отчужденности.

Солнце село. Все было в какой-то белой, тихой, раздражающей дымке. Тускло-белесое, ленивое море сливалось с белесым небом, нельзя было различить дали. Два черных судна неподвижно стояли на якорях, и казалось, они висят в воздухе.

Ордынцев молча греб. Вера Дмитриевна думала и не могла разобраться в той вражде и любви, которые владели ею. И было у нее в душе так же раздраженно смутно, как кругом. Волны широко поднимались и опускались, молочно-белые полосы перебивались темно-серебряными, в глазах рябило. Кружили чайки, и их резкие крики звучали, как будто

несмазанное колесо быстро вертелось на деревянной оси.

Вера Дмитриевна злыми, вызывающими глазами посмотрела на Ордынцева и спросила:

– Скажи, Боря, ты сейчас любишь меня?

Он удивленно оглядел ее и пожал плечами.

– Что за вопрос!

– Ну, скажи, любишь?

Он неохотно ответил:

– Люблю, конечно.

Вера Дмитриевна нервно рассмеялась и замолчала. Ордынцев, нахмурившись, продолжал грести. Она опять заговорила:

– Ведь любовь вообще бывает разная. Человек любит своего ребенка, любит и карася, жаренного в сметане. Но своего ребенка он не станет жарить в сметане.

Ордынцев перестал грести, внимательно посмотрел на нее и мягко сказал:

– Верочка, зачем этот тон? У тебя что-то есть на душе. Почему этого не высказать просто? Ведь гораздо легче все выяснить, когда не сердишься. Что с тобою?

Его простые, ласковые слова оборвали ее ненавидящее настроение.

– Что со мной?.. – Она помолчала, чтоб он не заметил подступивших к ее горлу слез. – Что со мной... Боря, мне странно, ты ничего не замечаешь, а ведь я уж сколько недель мучаюсь... И с каждым днем больше...

Ордынцев широко раскрыл глаза, как будто очнулся от глубокой задумчивости.

– Это правда, ничего не заметил, – наивно согласился он.

– Ну, вот... – Она еще помолчала. – Разве я не вижу, что ты меня совсем не любишь, что мы с тобой не пара? Ты живешь своею отдельною внутреннею жизнью, и до меня тебе нет совсем никакого дела. Тебе скучно со мной говорить. Все, над чем я думаю, для тебя старо, банально, уже давно передумано... И ты любишь только мое тело, одно тело... Господи, как это оскорбительно!

Ордынцев страдальчески нахмурился и вздохнул.

– погоди, Вера. Согласись, ведь, например, Марья Александровна в двадцать раз красивее тебя. А ты знаешь, я ее не выношу. Зачем же так говорить?.. Дело очень просто. Ты удивительно романтична и все хочешь какой-то «общности душ». Сколько уж у нас об этом было разговоров. Ее у нас, конечно, нет и не будет. Люди с каждым поколением становятся все сложнее и разнообразнее. Теперь никогда уже два человека не смогут «слиться душами». Я думаю, скоро даже простая дружба будет становиться все труднее.

– Боря, да ведь у нас с тобою даже и этой простой дружбы нет, между нами нет *ничего*... Вспомни, о чем мы с тобою говорим. Чтоб кофе тебе вовремя приготовить, чтоб переписать на ремингтоне твою статью, – больше ни о чем. Что же у нас общего, что нас связывает? Только то, что ты – мой господин, а я – твоя раба.

– Во-от как! – Ордынцев замолчал и с выжидающим вниманием уставился на Веру Дмитриевну.

– Да!.. А ты этого совсем даже не замечаешь. Ты, как большое колесо, свободно вертишься, а меня захватил в свои спицы и вертишь с собой. Я постоянно смотрю на тебя снизу вверх, меряю себя твоими глазами. Твой тон, взгляд, улыбка – все действует на меня неотразимо, я постоянно настороже, как ты взглянешь на мое слово или поступок. А я привыкла быть сама собою, отдавать отчет только своей душе и никому другому. Со всеми людьми я чувствую себя уверенно, независимо, чувствую себя полным человеком. А теперь, с тобою, все это разметывается, все мешается, и я никак не могу отыскать почву под ногами...

Она говорила, торопясь и волнуясь, под его спокойно выжидающим, внимательным взглядом. И она знала, – на все ее слова у него найдутся неопровержимые возражения, и все-таки от этих возражений все останется в душе, как было. И она продолжала:

– Помнишь, мы недавно видели по дороге в Алупку плющ на сухом дереве? Ты душишь меня, как этот плющ. Дерево мертво, сухо, но плющ украшает его пышною, густою, чужою зеленью. Так и со мной: меня нет, вместо меня – ты. Я принимаю все, что ты думаешь, ты ведешь меня за собою, куда хочешь. Ты можешь дойти до самых противных для меня взглядов, – и я окажусь в их власти незаметно для себя самой...

Ордынцев, наконец, заговорил:

– Вера, но разве же я требую от тебя какого-нибудь подчинения? Подумай, в чем ты меня обвиняешь!.. Я начитаннее, – может быть, развитее тебя. Без меня ты решила бы такой-то вопрос так-то. Я прибавляю ряд данных, и благодаря им ты – совершенно свободно – приходишь к более обоснованному выводу. Ведь вот и вся моя роль.

Он говорил, как будто большой корабль уверенно резал носом мелкие, бессильно вздымавшиеся волны. Вера Дмитриевна взволнованно возразила:

– Нет, ты не просто даешь данные. Ты меня направляешь, прямо ведешь на буксире!

Ордынцев нетерпеливо потер руки.

– Я никак не могу понять – чего же ты от меня хочешь? Чтоб я ни о чем не говорил с тобою, чтобы не возражал тебе, если не согласен с твоими мнениями? Но ведь сама же ты сейчас только упрекала меня, что я будто бы говорю с тобой только о кофе и пишущих машинах.

Вера Дмитриевна тоскливо повела плечами и быстро двинулась на скамейке. Как будто птичка забилась, запутавшаяся в сети.

Ордынцеву вдруг стало ее горько жалко. Он пересел к ней и мягко сказал:

– В одном ты, может быть, права: я действительно слишком занят собою, своими мыслями. Ты часто должна получать впечатление, будто мне до тебя нет дела. Но только, де-

вочка моя, не будь ко мне слишком строга. Я, может быть, урод, люблю как-то особенно. Но все-таки очень люблю тебя... А уж насчет «тела» ты так несправедлива, – мне даже дико слышать. Я помню, как ты курсисткою в первый раз пришла ко мне, я потом три дня ходил под впечатлением твоих ясных, тревожно спрашивающих глаз. И ты для меня – в этих глазах, в славной, удивительно чистой душе, но не в теле же! Верочка, ведь ты сама не можешь этого не чувствовать!

Вера Дмитриевна, уткнувшись лицом в ладони, плакала, стыдясь своих слез и не в силах сдержать. А он нежно гладил ее по волосам. Белый сумрак спускался на море. Бултыхала вода, над тихой поверхностью кувыркались выгнутые черные спины дельфинов с торчащими плавниками. И все кругом было смутно и бело.

К ночи Ордынцев лежал в сильной мигрени. Вера Дмитриевна ухаживала за ним, клала на голову горячие компрессы. С бережной любовью она вглядывалась в полумраке в его бледный, холодный лоб и думала, какой это хрупкий и тонкий инструмент – сильно работающий, мозг, и как нужно его лелеять.

## IV

И все следующие дни Ордынцев был хмур и нервен. Ему не работалось. Он читал только беллетристику. В душе он винил в своем настроении Веру Дмитриевну, был скучен и более обычного холоден с нею. Глаза смотрели на нее с легким удивлением, как на незванно-пришедшую. Говоря с нею, он зевал.

Веру Дмитриевну это еще сильнее мучило, и черные подозрения роились в душе.

С раннего утра с гор подул на город бешеный ветер. Над улицами и домами вздымались тучи серой пыли. Деревья билась под ветром. Гибкие кипарисы гнулись в стройные дуги.

Вера Дмитриевна встала грустная, заплаканная. Ордынцев сидел у себя в кресле и читал Кнута Гамсуна. Она робко сказала:

– Хотелось тебя увидеть. Я на минутку... Не мешаю тебе?

Он вяло ответил:

– Нет, я не работаю.

Вера Дмитриевна горячо поцеловала его в голову и села.

– Мне сегодня ночью снилось. Вхожу я к твоей матери на балкон. Ты сидишь с нею. Когда я вошла, вы замолчали, ты вышел. А она странно взглянула на меня и говорит: «Мне нужно с тобою поговорить», и смотрит так серьезно!.. «Боре очень тяжело жить с тобою. Все, что ты ни скажешь, все так

банально, неинтересно. Все его так раздражает... Неужели ты сама не чувствуешь, что ты ему не пара?» И во сне мне так тяжело стало, так обидно, обидно... Я проснулась и плачу... Зачем, зачем ты мне этого прямо сам не сказал?

Такая вся она была жалкая, бледная, с синими кругами у глаз... Ордынцев взял ее руки в свои и улыбнулся.

– Деточка моя! Ведь не ответствен же я за то, что говорю тебе в твоих сновидениях!

– Я должна отказаться от тебя, я об этом все время думала. Но я не могу!.. Я так тебя люблю! – Она прижалась головою к его плечу и зарыдала.

– Верочка, да ты с ума сошла! – всполошился он, пораженный ее словами. – Какие у тебя мысли! Что с тобой? «Отказаться!» Да пойми, что ты тогда со мною сделаешь!

Он стал говорить, как она необходима ему, как скрашивает его жизнь своими заботами и любовью, как ему дорого ее мнение об его работах. Вера Дмитриевна рыдала, прижав к лицу носовой платок. Потом вдруг быстро встала.

– Прости, все нервничаю!.. Зачем я об этом заговорила? Так глупо!

И ушла. Ордынцев думал и скучливо морщился... К чему это все? Как было легко и хорошо раньше, когда она с раскрытою душою шла ему навстречу, дышала им, как цветок солнечным светом. А теперь... Ну, да! В ней нет ничего особенного. Пора бы уж самой понять это и не требовать от жизни невозможного, а отдать силы на выращивание того,

что есть у него...

Вечером они отправились в городской сад на симфонический концерт. Темнело, ветер крепчал. Навстречу по дорожке шел плотный и высокий профессор Богодаров, с седоватыми волосами до плеч, в серой крылатке.

Он издалека улыбнулся им, любовно и дружески глядя на Ордынцева.

– Здравствуйте. Симфонический концерт пришли слушать? Отменен. По случаю ветра... Сядем все-таки, послушаем хоть садовую музыку.

В тоне его голоса чувствовалось, как он любит и ценит Ордынцева. Они сели на скамейку перед ротондой.

Публики было мало. Оркестр играл «Шествие гномов», попури из «Фауста». Ветер бушевал и трепал на пюпитрах ноты. Богодаров оживленно говорил с Ордынцевым. Вскоре они вполголоса горячо заспорили о чем-то.

Вера Дмитриевна сидела молча, кутаясь в накидку. На душе было одиноко. В груди тонко и быстро как будто дрожали натянутые струны. После утреннего разговора Ордынцев опять стал с нею нежен-нежен. Это было сладко и обидно. Хотелось плакать и от этого и от музыки, где скрипки пели о любви Маргариты к Фаусту. А в воздухе кругом дрожала жуткая тревога. Ветер шипел в деревьях. Электрические фонари мерцали и качались. Вправо на аллее, в тучах пыли, билась, изгибаясь, кипарисы. Из-за хребта Яйлы выглядывали черные, растрепанные тучи, как будто подстерегали что-то.

Ветер сильно рванул, пюпитры на эстраде опрокинулись, и ноты, как стая чаек, заметались в воздухе. Музыка оборвалась. Дирижер сказал что-то музыкантам. Все ушли. Вышел человек и объявил, что по случаю ветра музыка совсем отменяется. Служители подбирали на дорожках ноты.

Ордынцевы и Богодаров отправились в садовый ресторан. Они сели в стеклянной галерее и пили чай. Мимо прошел студент в потертой серой тужурке. Вдруг он нерешительно остановился, подошел и сказал, улыбаясь:

– Здравствуйте, Вера Дмитриевна.

Вера Дмитриевна взглянула и просияла.

– Бездетнов! Здравствуйте! Вы как здесь в Ялте?

Он ответил.

– Садитесь к нам чай пить, знакомьтесь. Это – профессор Богодаров, это – мой муж.

Студент почтительно поздоровался и сел. Вера Дмитриевна радостно и оживленно заговорила с ним, он отвечал, и они беседовали, как давнишние друзья.

Ветер завыл в саду и ударил песком в стекла галереи. Все оглянулись. Ордынцев нервно повел плечами.

– Вот в такую погоду на море очутиться!

Бездетнов отозвался.

– Под вечер сегодня я был на набережной. Какое-то парусное судно уж совсем входило в гавань. Вдруг его понесло ветром в море. Выкинули красный флаг о помощи. Их уносит, а в гавани никто не двинулся на помощь. Так и исчезло

за горизонтом.

– Парового катера здесь нет, а в лодке помочь невозможно, – вздохнул Богодаров, помолчал и спросил: – Вы, коллега, какого университета?

– В Московском был... Теперь уже не состою.

– По студенческим вылетели?

– Нет, не по студенческим... По обвинению в участии в социал-демократической партии.

Богодаров стал расспрашивать, и вскоре заспорили. Богодаров с Ордынцевым были против Бездетнова. Но Бездетнов держался, смотрел твердыми, даже слегка насмешливыми глазами и не уступал. И все, что он говорил, было для Веры Дмитриевны ясным, близким и родным.

Подошли знакомые Ордынцева. Спор прекратился. Вера Дмитриевна оживленно встала и вышла с Бездетновым в сад. Ордынцев видел в окно, как они быстро ходили по аллее, жмурясь от ветра, и горячо разговаривали.

## V

В одиннадцатом часу Ордынцевы возвращались домой. В воздухе все чувствовалась та же тревога. Ветер с протяжным свистом проносился через сады. Телефонные проволоки жалобно гудели. Над головою с востока на запад неподвижно тянулась черная гряда туч. И что-то зловещее было в ее неподвижности, когда внизу все выло и билось. Горизонт над морем слабо сиял от невзошедшего еще месяца.

На душе у Веры Дмитриевны было светло. Против окружавшей тревоги росло бодрое, вызывающее чувство... И вдруг ей таким маленьким показался шедший рядом Ордынцев, опять ставший хмурым и нервным от окружавшей жуткой тревоги. Он заговорил:

– Славное лицо у этого студента... Но какой типично студенческий способ мыслить.

Вера Дмитриевна сдержанно спросила:

– Что же это за особенный студенческий способ мыслить?

– Ты заметила, он все превращает в прямоугольные четырехугольники? В сложное, загадочно-неправильное жизненное явление вколачивается железная рамка, и все становится удивительно простым и легко измеримым.

– Не знаю... А только я с ним была гораздо больше согласна, чем с вами.

– Кстати, кто он такой? Откуда ты его знаешь?

– Я с ним познакомилась в прошлом году, летом, когда гостила у подруги. – Вера Дмитриевна улыбнулась своим воспоминаниям и прибавила: – Такие странные у нас были отношения!

– Какие же?

Она помолчала.

– Я думаю, он меня любил... В первый раз меня поразило его поведение, когда мы ездили на мельницу. Там была над самым омутом узенькая, гнилая дощечка... Ты сердишься, я при тебе не делаю, а вообще меня так и тянет ко всему опасному. Я хотела пройти по этой дощечке, он вдруг страшно побледнел, схватил меня за руку. «Вера Дмитриевна, я вам не позволю идти». Я засмеялась: «Вот еще!» – и, конечно, все-таки пошла. И весь вечер он был бледен, задумчив. И мне в первый раз стало странно. И потом вообще, когда мы бывали одни, вдруг начинало чувствоваться что-то особенное, не всегдашнее.

Вера Дмитриевна рассказывала, мечтательно улыбаясь. Она шла на сочувственное внимание Ордынцева, как будто рассказывала своей подруге. А он слушал, подняв брови, и соображал: это было прошлым летом, значит за месяц, за два до их свадьбы...

Они пришли домой, вошли в комнаты. Вера Дмитриевна, охваченная воспоминаниями, опять заговорила:

– И много, много было... Раз мы все поехали на пикник к шлюзам. Мы с ним спустились по лесенке в один из ящи-

ков, где шлюзы были опущены. Стоим, – по обеим сторонам ревет вода, скользкие стены дрожат, и из щелей бегут струйки. Опять почувствовалось что-то не всегдашнее, значительное. Он говорит: «Давайте расскажем друг другу, когда и кого мы любили». – «Хорошо». Он стал рассказывать. Десяти лет влюбился в девочку Таню на елке, она была в розовом платье и розовых туфельках. А с тех пор, кажется, не любил... А у самого голос дрожит, бледный... И еще сильнее почувствовалось это важное. Я сказала, что люблю тебя, я ему об этом раньше говорила. И вдруг он вспыхнул, нахмурился и резко стал мне доказывать, что я тебя совсем не люблю, что я люблю тебя только как писателя, а это совсем другое.

Ордынцев коротко сказал:

– Я думаю, он был прав.

Вера Дмитриевна не заметила скрытой вражды в его голосе, не заметила напряженно-безразличного выражения его глаз и горячо возразила:

– Нет, совсем не прав. Я для тебя дала бы себя на куски разрезать, а не сделала бы этого даже для Толстого. Тут совсем другое. К тебе любовь была какая-то шероховатая, с сомнениями и мучениями. Мне всегда казалось, – за что ты меня можешь любить? То гордилась тем, что ты такой умный и талантливый, любишь меня, то плакала. И всегда при тебе я чувствовала себя как будто немножко связанною. А с ним как-то странно было, но удивительно хорошо. Я знала, что

люблю тебя, но с ним мне было так тепло-тепло и, главное, свободно. Я как будто грелась в его отношениях. Не было чувства снизу вверх, мы были во всем равны, как товарищи. Вместе читали, спорили. Мне были полезны его возражения, ему – мои. Говорю – и не боюсь, знаю, что мои слова не покажутся ему скучными. И стремления у нас тогда были общие, и общая работа подпольная... Скоро пришла телеграмма, ему пришлось уехать в Петербург, – и вот только теперь увиделись.

Ордынцев тяжело дышал. Вера Дмитриевна стояла, облокотившись о спинку кресла, вся отдавшись воспоминаниям. И он смотрел на нее – молодую, девически-стройную, опять желанную.

– Да-а... Значит, если бы не телеграмма, ты бы со мною разорвала, это вполне очевидно, – медленно заговорил Ордынцев, и глаза его были холодны и злы. – Твое отношение ко мне и теперь осталось прежним. Вина моя, значит, в том, что я слишком умен для тебя...

Вера Дмитриевна, пораженная его тоном, быстро подняла голову. Он продолжал медленно и беспощадно-мстительно, с разрешившеюся тревогою, которая была в нем от тревоги кругом...

– Что же мне теперь делать? Я тебя люблю, потерять тебя мне было бы очень тяжело... Случается, что женщина разрывает с близким человеком потому, что он пошлеет, опускается умственно и нравственно. Но разрывать из-за обратного, –

на это, я думал, способны только мопассановские «*roupées de chair, faites pour les baisers*»<sup>1</sup>. Я стремился развиваться, стремился стать умнее, шире. Оказывается, в этом как раз и был мой промах. Нужно наоборот, стараться попридерживать себя, не идти вперед, а если можно, пятиться назад...

Он вдруг замолчал. Вера Дмитриевна стояла страшно бледная, с широко открытыми, огромными глазами. И Ордынцев с ужасом почувствовал, что теперь все пропало и сказанного не воротишь ничем.

– Ох, Боря, что ты сказал... – тускло произнесла она, вдруг вздрогнула, издала горлом странный, глухой звук и быстро ушла к себе.

Замок шелкнул.

Ордынцев дрожащими шагами несколько раз прошелся по комнате, потом подошел к двери и постучал:

– Верочка!

Она властно ответила:

– Нельзя!

И стало тихо.

Ордынцев серьезно и настойчиво сказал:

– Ну, Вера, отвори, мне необходимо с тобой поговорить.

– Боря, я сейчас не могу. Потом.

Он растерянно повернулся, вышел на балкон. Над морем стоял месяц, широко окруженный зловещим зеленовато-синим кольцом. По чистому небу были рассеяны маленькие,

---

<sup>1</sup> «Красивые куклы, созданные для поцелуев» (франц.).

плотные и толстые тучки, как будто черные комки. Ордынцев постоял, вернулся в комнату, сел на диван. За дверью было тихо. Он с тревогою думал: что она делает? И не знал, что предпринять. И чуждыми, глупо-ненужными казались ему сложенные на столе папки с его работами.

Через час Вера Дмитриевна вышла, с сухими, большими и радостными глазами. Новым, не боящимся его возражений голосом она сказала:

– Я утром уезжаю.

Ордынцев внимательно посмотрел на нее и молча забарабанил пальцами по ручке дивана.

– Вера... Я глупо погорячился и наговорил непозволительных пошлостей, – через силу произнес он.

– Боря, нет, я не из-за этого... Но теперь я уж всегда буду думать, что камнем вишу на тебе. А потом... Я много сейчас передумала. Полезной я тебе никогда не буду. И вот, странно, – когда я это поняла, я вдруг почувствовала радость. Вдруг почувствовала, что хочу жить сама. Не тебя лелеять хочу, а хочу жить на собственный риск... Да, я не так умна, не так развита. А все-таки жить должна своим умом. И пусть будет, что будет...

Она подошла к двери балкона и жадно дышала свежим ветром. И стояла она, радостно и чутко насторожившись, как серна, почуявшая свободу.

Ордынцев чувствовал, что теперь все его уговоры окажутся бессильными. Он угрюмо смотрел на Веру Дмитриевну и

думал: любила ли она его хоть когда-нибудь, или нет?

*1904*